

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



← 6 →

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 6

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 6 / С. Сорокин — «Автор», 2026

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосьмилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

© Сорокин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	19
Глава 4	25
Глава 5	32
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Битва за Москву 1941 - 6

Глава

Москва 1941 Том 6

Глава 1



Первым, что я увидел, поднявшись с паперти, была лужа.

Обыкновенная лужа посреди площади, розовая от закатного света, в ней плавала солома и чей-то размокший подсумок. Я шагнул к ней, чтобы обойти, и остановился, потому что у края из грязи торчало что-то ребристое, похожее на оперение стрелы. Я нагнулся и вытащил.

Хвостовик мины. Похожей на нашу восьмидесятидвухмиллиметровую, с обломанным пером, весь в рыжей окалине.

Я повертел его в пальцах и посмотрел вокруг себя уже другими глазами — теми, которыми смотрел утром на поле перед оврагом, когда считал, где ляжет половина роты. Площадь была неровная, разъезженная, с четырьмя или пятью старыми воронками, оплывшими по краям, наполовину полными воды. Я с утра считал их следами нашей же артподготовки и до этой минуты ни разу о них не подумал.

Теперь я подумал.

Воронки лежали неправильно для случайного огня. Две — по бокам от паперти, метрах в пятнадцати, одна — у колодезного сруба, одна — прямо перед воротами кладбищенской ограды, там, где всякий человек, идущий к церкви, обязательно сходит с травы на утоптанное. Они образовывали не кучу, а вилку. Так ложатся мины, когда их кладут не по врагу, а по пустому месту — чтобы потом, когда на этом месте кто-нибудь окажется, не искать поправок.

Я прошёл вдоль цоколя и нашёл то, что искал, на высоте колена: свежие белые сколы в тёмном от копоти камне, длинные, как царапины от когтя. Осколки шли снизу вверх и справа налево. Недавно — сколы ещё не успели потемнеть. По одним царапинам места миномёта не установишь, но площадь явно уже обстреливали; северо-восточный перелесок я пока держал в уме как возможное укрытие расчёта.

Три недели они здесь стояли. Три недели у них был этот двор, эта паперть, эта колокольня как самый видный ориентир на всём Взгорье. Они отсюда уходили не наспех: складывали оклады аккуратной стопкой, пилили лучину про запас. Люди, которые пилят лучину про запас, успевают пристрелять и собственную площадь.

А на эту площадь сейчас со всех сторон сходилась рота.

Они шли от изб, от амбаров, от огородов — по двое, по трое, кто с чем, — и все шли к паперти, потому что там стоял Бортников, а где стоит ротный, там и сбор. Ковригин уже усадил у стены четверых перевязанных. Носильщики тащили пятого на плащ-палатке и, дотащив, опустили его прямо на ступени, в квадрат света из открытой церковной двери. Кто-то принёс ящик с патронами и поставил у порога. Из подвала выносили немецкие ранцы и складывали в кучу возле колодца — на самом виду, на самом открытом месте, в четырёх шагах от воронки.

Я стоял с этим хвостовиком в руке и смотрел, как минут за десять на пристрелянном пятачке собирается всё, что у нас осталось.

— Гринёв, — сказал Бортников, обернувшись. — Ты чего там ковыряешься. Помогай людям перекликать.

Я подошёл и молча положил хвостовик ему на ладонь.

Он посмотрел на железку, потом на меня, потом опять на железку.

— Ну. Мина. Их тут в грязи с лета натыкано. — Он повертел хвостовик и протянул обратно, уже глядя поверх меня на носильщиков.

— По ржавчине не скажу, с какого дня. — Я отодвинул его руку и указал на стену. — А сколы свежие. И не один.

Я повёл его за локоть — три шага, не больше, — к цоколю и показал сколы. Он нагнулся, посмотрел вдоль стены, прищурясь, как смотрят на плотницкую работу, проверяя, ровно ли отёсано. Он у меня за спиной дышал коротко и сипло, и я вдруг вспомнил, что он с рассвета на ногах, как и все.

— Веером легло, — сказал я. — Вон, и вон, и у сруба. Фрол Игнатьич, это не по нам стреляли. Это они сами по себе стреляли, когда здесь сидели. Репер набивали.

— Зачем им по себе стрелять?

— Затем, что они не собирались тут сидеть вечно. Уйдёшь — надо знать, куда потом класть. Они эту площадь знают лучше, чем мы её сегодня прошли.

Бортников выпрямился. Помолчал. Снял шапку, вытер ладонью лоб, хотя было холодно, — он всегда так делал, когда ему предстояло отменить собственный приказ.

— Носилки! — крикнул он вдруг так, что двое санитаров на ступенях присели. — Куда вы его на свет положили, паскуды. Внутрь. Нет, стой — не внутрь. Стой!

И повернулся ко мне уже совсем другим голосом, тише:

— Ну и куда их? Мне их считать надо. Я роты не знаю. Я не знаю, сколько у меня людей, понимаешь ты? Мне Северин через час спросит цифру, а я тебе её сейчас назвать не могу.

— Развести в четыре укрытия и считать порознь. — Я показал избу, ограду, алтарную стену и вход под своды.

— В четырёх местах я насчитаю четыре разных вранья.

— Не насчитаешь, если у каждого места будет человек, который отвечает.

Он смотрел на меня секунды три, и за эти три секунды я успел испугаться, что перегнул. Я был восемнадцатилетний боец без единой лычки, и я вторые сутки объяснял ротному, как ему держать роту.

— Двадцать минут, — сказал Бортников. — Двадцать. Если через двадцать минут у меня не будет цифры, я тебя, Гринёв, при всех поставлю носилки таскать, и правильно сделаю.

Я не стал благодарить. Я побежал.

Первым делом я перехватил тех двоих на ступенях. Они уже подняли раненого и несли его к церковной двери, и я успел взяться за задние ручки прежде, чем передний перешагнул порог.

— Стой. Не сюда.

— Нам сказали в подвал, — сказал передний, не оборачиваясь. Он был из старых, с рябым лицом, и ему очень не хотелось разговаривать.

— Знаю. Сначала поставим. Аккуратно.

Мы опустили ручки на плиту. Раненый втянул воздух сквозь зубы; передний носильщик разжал побелевшие пальцы. Только тогда я показал ему лестницу.

— Посмотри, куда ведёт.

Он посмотрел. Лестница в подвал была та самая, по которой мы утром шли с гранатами: узкая, в один плечевой размер, с поворотом, каменная. На повороте носилки не разворачивались — их приходилось поднимать на попу.

— Двенадцать человек туда снесём, — сказал я, — а потом им наверх по одному, боком. Если сюда положат хоть одну мину, эта лестница станет пробкой. Кто в подвале — там и останется.

— А ты будто знаешь, что положат.

— Знаю, что пристреляно.

Раненый — пожилой, с простреленным бедром, туго перетянутым — лежал с закрытыми глазами и, кажется, ничего не слышал; потом, не открывая глаз, сказал:

— Ребята, вы уж куда-нибудь.

— Сейчас, отец, — сказал я. — Сейчас разберёмся, и понесём один раз.

Ковригина я нашёл там же, у стены, где он менял повязку Тимохину. Военфельдшер сидел на корточках, очки сползли, и он подталкивал их вверх запястьем, потому что пальцы были в крови.

— Иван Кузьмич. Кого из них можно нести и кого нельзя?

— Всех можно, — сказал Ковригин, не поднимая головы. — Вопрос, куда и сколько раз. Каждое перекладывание — это у меня один новый разошедшийся шов.

— Тогда решаем сейчас, чтобы перекладывать один раз. Подвал годится только для тех, кто сам никуда не пойдёт. Лежачие — вниз, ходячие — в крайнюю избу, у неё каменная стена со стороны перелеска.

Он наконец поднял голову. Стёкла у него были запотевшие, и он смотрел поверх них.

— Почему не всех в подвал? Там свод. — Ковригин поддерживал Тимохину локоть, чтобы тот не дёрнул рукой, пока мы спорили.

— Свод хороший. Выход плохой.

— Свод, — сказал Ковригин, — переживёт всех нас. — Он подумал. — Но лестницу я видел. Ладно. Лежачих пятеро. Селиванов ходячий, Тимохин ходячий, Дёмин ходячий, эти трое — сами дойдут и ещё других доведут.

— Тогда так. — Я обернулся, нашёл глазами двух парней из пополнения, тех, кто был поцелее: длинного и маленького, фамилий я ещё не знал. — Вы двое. Возьмите пустые носилки и пройдите с ними вниз до заднего выхода и обратно.

Маленький посмотрел на меня, потом на длинного.

— Пустые?

— Пустые. С раненым проверять поздно будет.

— А если мы там застрянем? — спросил длинный. Он спросил серьёзно, не в шутку, и мне это понравилось.

— Значит, ты застрянешь, а он тебя вытянет. Вдвоём вы там не поместитесь только в одном месте, и я хочу знать, в каком именно.

Они ушли и пропали в темноте минуты на три. Я стоял на ступенях и считал эти минуты по собственному дыханию, и это было мучительно, потому что за спиной у меня по площади продолжали ходить люди, а солнце падало и падало.

Они вылезли из заднего провала, из-под кучи мокрого мусора у алтарной стены, и длинный крикнул мне оттуда:

— Проходит! Только у поворота ручки надо вперёд подавать, а то в косяк бьёт!

— А снаружи? Куда выходите?

— В крапиву! — сказал маленький с обидой, показывая ободранные кисти. — Прямо в крапиву, товарищ... — Он запнулся, не зная, как меня звать.

— Гринёв. Андрей. Крапиву вырубить, выход не закрывать. Всё, тащите лежачих.

И вот тогда, когда первых уже понесли, я догнал Бортникова у колодца, где он стоял с Опариным над ящиками.

— Патроны куда, — сказал я.

— Патроны при мне, — сказал Бортников. — У меня их полтора ящика на роту, Гринёв. Полтора. Я их из рук не выпущу, я их разнесу по углам, а потом ночью не найду.

— Ты их из рук не выпустишь, а они лежат в четырёх шагах от воронки.

Бортников поставил сапог на край ящика, словно его уже пытались унести.

— Здесь я их вижу.

— Отсюда и немец их видел три недели.

Опарин, сидевший на корточках возле ящика, поднял голову. Он весь день ворчал про потерянный подсумок, и мне казалось, что его ничем не пронять.

— Фрол Игнатьич, — сказал Опарин неторопливо, — а ведь малый дело говорит. У нас так под Ельней склад стоял. Тоже все на него любовались.

Бортников поглядел на нас двоих очень нехорошо.

— Ну пойдём, — сказал он. — Покажи мне свой второй угол. И если ты меня по открытому потащишь, я тебе это вспомню.

Я повёл его через двор — не прямо, а вдоль полуразрушенной каменной ограды, там, где она держалась ещё в человеческий рост, потом через садовую канаву, которую я заметил ещё утром, когда мы обходили церковь к ризнице. Канавка была неглубокая, сырая, заросшая по краям бурьяном, и она шла от двора почти до самой северной кладбищенской ограды, и мне надо было проверить, что видно снаружи. Опарин передал ящики соседнему бойцу и пошёл с нами. У выхода я оставил его смотреть, а сам прошёл канаву пригнувшись и вернулся к нему.

— Бурьян шевелился, — сказал Опарин. — И всё. Голову не покажешь — ничего.

Бортников прошёл по ней сам. Прошёл до конца, до самой ограды, и там разогнулся и долго смотрел назад, на церковь, на то, как отсюда видно паперть и как отсюда не видно нас.

— Триста метров, — сказал он.

— Двести восемьдесят. И к избе от неё отвод, через амбар.

Он потёр щёку.

— Гринёв, а ты когда это всё разглядел? Мы ж утром тут под огнём ползли.

Я не мог ответить правду — что я разглядываю местность так с тех пор, как впервые лёг на гребень с чужим пулемётом и понял, что от рельефа зависит, кто вечером будет жив. Что эта привычка старше моих восемнадцати лет и всей этой войны.

— Утром и разглядел, — сказал я. — Пока ползли.

— Ну-ну, — сказал он. Опарин отправился обратно к ящикам. Ротный вернулся к колодцу другой дорогой и по дороге командовал уже сам: — Опарин! Третью ящиков сюда, третью в избу, остальное к северной паре. И чтоб у каждого места был твой человек и твой счёт, понял? Ты за железо отвечаешь.

— Всю жизнь за него отвечаю, — сказал Опарин. — Только сперва подсумок свой найду, а то без подсумка неудобно отвечать.

Северин пришёл, когда мы уже таскали.

Вчера я докладывал ему разведку, перед штурмом — о проволоке и затопленном овраге. Тогда я смотрел прежде всего в карту; сейчас впервые разглядел его при дневном свете. Комбат был невысокий, в короткой шинели, с лицом человека, который третьи сутки не ложился и решил, что не ляжет и четвёртые. Он встал посреди площади — как раз там, где я бы не стал стоять, — и Бортников пошёл к нему докладывать, а я пошёл следом, потому что Бортников меня взял за рукав и не отпустил.

— Восемнадцать убитых, двадцать четыре раненых, — говорил Бортников. — Товарищ капитан, я сейчас точную цифру по наличию...

— Почему рота не собрана? — перебил Северин. Он смотрел не на Бортникова, а на пустую паперть, на которой не было никого, кроме одного санитаря. — Я приказал закрепиться и удерживать до смены. Я не вижу роты.

— Рота рассредоточена, товарищ капитан.

— Кем?

— Мной, — сказал Бортников. И, помолчав ровно столько, сколько нужно было, чтобы это прозвучало как его собственное решение: — По представлению бойца Гринёва. Площадь у немца пристреляна.

Северин перевёл глаза на меня. Никакого интереса в них не было — только усталость и раздражение человека, которому вместо цифры дают слово.

— «Рассредоточена», — сказал он. — Знаешь, боец, сколько раз я за эту осень слышал «рассредоточились»? Рассредоточились — это когда все разбежались и никого нет. Через час сюда полезут, и рота будет лежать в двадцати местах по одному человеку, и никто никому не поможет. Ты мне не слово повторяй. Покажи боевой порядок.

Он ждал. Бортников молчал. И я понял, что сейчас или эти двадцать минут закончатся ничем, или у меня будет ночь, которую я смогу устроить так, как считаю нужным.

— Четыре места, товарищ капитан, — сказал я. — Северная кладбищенская ограда — она выше всего и с неё видно подход из канавы и от перелеска. Крайняя изба — у неё каменная стена в ту сторону, там ходячие раненые и часть патронов. Подвал под алтарём — там лежачие и задний выход, мы его расчистили. И резерв за алтарной стеной, шесть человек, оттуда в любое из трёх мест меньше минуты бегом.

— Связь? — Северин перевёл взгляд с пустой паперти на канаву.

— Голосом и посыльным по канаве. Канавка идёт от церкви до ограды, я по ней прошёл, снаружи не видно. Ночью — сигнал шнуром между северным постом и избой.

— Телеги? — Он отступил к ограде, пропуская носильщиков.

— Телеги — не через площадь. Через сад и амбарный проход, выходят на дорогу за амбаром. Мы на площади оставим пустую телегу для вида.

Северин слушал, глядя куда-то мимо меня, и я не мог понять, слышит ли он вообще. Потом сказал:

— Если тебя накроют в твоей канаве, ты потеряешь связь и не заметишь этого до утра.

— Я поставлю посыльного возвращаться. Не «сходил и доложил», а сходил, вернулся и сказал, что дошёл.

— А кто мне скажет, что последняя телега с ранеными ушла? — сказал Северин. — Вот у тебя все умные, все по своим углам сидят, а телега стоит на дороге, и никто не знает, ушла она или нет.

— Опарин скажет, — сказал я. — Он будет у амбарного прохода, считать и выпускать.

— Опарин это кто?

— Я, — сказал Опарин от колодца. Он поднял голову от ящика; отсюда до нас было пять шагов. — С четырнадцати лет, товарищ капитан, с оружием. Сосчитаю.

Северин наконец посмотрел на меня прямо.

— Двенадцать человек из пополнения, — сказал он Бортникову. — Те, что на ногах. Отдай их ему до утра. И, Бортников: если утром я приеду и увижу, что село сдали, я буду спрашивать не с бойца Гринёва.

— Я знаю, товарищ капитан, — сказал Бортников.

Северин ушёл. Мы простояли с ротным ещё полминуты молча, и потом он сказал в пространство, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот тебе и двадцать минут.

К этому времени лежащих уже несли вниз, и я пошёл туда, чтобы не мешать, а помогать, — и оказалось, что помогать есть чем.

На дорожке от паперти к заднему провалу лежала выбитая дверная створка, здоровенная, окованная, с торчащим краем петли. Через неё носильщики переступали, и это было терпимо — а телеге тут было бы не пройти, ось бы села на петлю. Я оттащил её к стене. Оказалось тяжело: она разбухла от воды, и я провозился с ней дольше, чем рассчитывал, и ободрал уже ободранную ладонь.

Под пожилым, с бедром, подстилка вымокла насквозь ещё наверху. Ковригин, спускаясь мимо, коротко глянул и сказал:

— Смените ему. Одному этому. Остальным не надо, остальные сухие, а мы тут до ночи будем перестилать.

Я нашёл в церкви на немецких нарах кусок сухой соломы, и мы подменили её вдвоём с длинным парнем — тем самым, который проверял лестницу с пустыми носилками. Раненый застонал, когда его приподняли, и сказал что-то про то, что он их всех переживёт. Ковригин не вмешивался в перекладку; он стоял на повороте лестницы и говорил, кого следующим, и это было правильное разделение: он выбирал, я расчищал.

— Вот его, с животом, — говорил Ковригин. — Его первым на телегу. Потом этих двоих. А с бедром — третьим, он подождёт.

— Я подожду, — сказал пожилой снизу, из темноты.

На последнем повороте я остановил длинного.

— Тебя как зовут?

— Скворцов.

— Скворцов, отнёс — и сразу назад к паперти. Не к своим, не покурить. Назад к паперти, там будет следующий.

Скворцов перехватил пустые ручки и задержался на ступени.

— А если у паперти никого не будет?

— Значит, ждёшь двадцать шагов в сторону, за угол, и смотришь на паперть оттуда.

Он подумал и кивнул, и я увидел по лицу, что он не просто согласился, а понял: место, с которого смотрят, и место, на котором стоят, — это два разных места.

Лестница освободилась, крапиву у заднего выхода вырубил, и подвал начал работать ещё до того, как мы кончили перестановку. Это было первое за весь день, что меня согрело: у нас появился порядок, в котором люди не ждали общего конца работы, чтобы начать свою.

Потом за меня взялся Дьячков.

Глава 2



Он поймал меня у алтарной стены, где я складывал в нишу цинки, и заговорил вполголоса, но зло, и я впервые за сегодня услышал, как у него дрожит голос, — не от страха, от усталости.

— Гринёв. Ты пацанов куда думаешь?

— В пары. К старым.

— Нет, — сказал Дьячков. — Ты их в подвал сунь. Вон, к раненым, пусть сидят, воду подают. Они сегодня по пять раз каждый умер. Юдин у меня час назад ложку не удержал, у него руки ходуном.

— В подвале нам двенадцать человек не нужны.

— А на стене они нужны? Ты знаешь, что будет? — Он придвинулся ближе. — Ты старика ставишь с сопляком в пару, и старик всю ночь будет не за немцем смотреть, а за ним: не заснул ли, не пальнул ли сдуру. Он из-за него немца пропустит. Я это видел, Андрюха. В августе видел.

Он был прав, и я это знал, и с этим нельзя было спорить общими словами.

— Согласен, — сказал я. — Поэтому каждому дадим не пост, а одну работу. Одну. Не «охраняй участок», а «смотри в пролом». Или «подавай патроны». Или «слушай сад». Справился — добавим вторую.

Дьячков помолчал.

— Одну, — повторил он. — А если он и одну не потянет?

— Тогда мы это узнаем сегодня в темноте за оградой, а не завтра под огнём.

Дьячков протёр ладонью лицо, задержав пальцы на переносице.

— Всё у тебя складно. Пошли, покажешь, как оно выйдет.

Мы пошли расставлять вместе.

Я делал это так: приводил пару на место, показывал сектор, а потом уходил, и через четверть часа возвращался и спрашивал не старшего, а младшего: где твой старший и что он сейчас делает? А потом старшего: что делает твой младший?

У кладбищенской ограды Хвостов ответил мне мгновенно, не оборачиваясь:

— Слева от меня, за камнем, смотрит в пролом ограды и считает, сколько раз мимо пройдут наши, чтоб потом отличить.

А мальчишка ответил:

— Аким Тарасыч за дорогой смотрит и за мной.

И я понял, что у этой пары всё в порядке.

У амбара было хуже. Боец из старых сказал, что его напарник «где-то тут», а напарник, найденный за углом, сказал, что ему велено смотреть «вообще». Я не стал их разносить при остальных — от этого в темноте не появляется ни одного лишнего глаза. Я велел им поменяться местами.

— Зачем? — сказал старший, обиравшись.

— Затем, что ты сядешь туда, куда его посадил, и увидишь, что оттуда видно.

Он сел. Посидел. Вылез с другим лицом.

— Тут забором всё закрыто, — сказал он. — Ему отсюда только небо видеть.

— Вот и переставь его сам. Куда надо.

Юдина я взял себе на северную ограду — самое дальнее и самое открытое место, — и не потому, что жалел его, а потому, что хотел видеть его своими глазами.

Мы шли туда уже в сумерках, вдоль канавы. Где-то в селе хлопнула отставшая доска — просто упала с крыши, — и Юдин дёрнулся всем телом и выронил обойму. Она чмокнула в грязь.

Он замер. Я тоже остановился и стал ждать.

— Я сейчас, — сказал он. Голос у него был ровный, только на полтона выше, чем надо. Он присел, пошарил рукой, нашёл, вытер патроны о полу шинели, каждый отдельно. Потом встал и сказал очень быстро: — Товарищ Гринёв, я понимаю, я знаю. Огонь по команде, вести наблюдение за своим сектором, при обнаружении противника доложить, при отходе прикрывать соседа, оружие содержать...

— Юдин.

— ...в исправности, — договорил он и осёкся.

— Меня не надо убеждать. Мне сдавать тебя некуда, ты у меня и так последний.

Он моргнул.

— Покажи лучше, — сказал я, — откуда сюда можно подползти так, чтоб я не увидел.

Он посмотрел на ограду. Постоял. Потом, к моему удивлению, лёг — прямо в мокрую траву — и пополз вдоль камней вниз, к тому месту, где ограда просела и её выпирало корнями. Прополз шагов десять и крикнул оттуда сдавленным шёпотом:

— Я вас вижу! А вы меня?

Я его не видел. Совсем. Там была тень от разросшейся бузины, и за счёт просадки линия камня шла ниже, чем казалось, и получалась мёртвая полоса метров в двадцать длиной — как раз до угла, откуда начинался пролом в ограде.

— Стой там, — сказал я. — Хвостов!

Хвостов пришёл, послушал, посмотрел, поплевал на ладони. Он молчал минуты полторы. Потом сказал:

— Тут не смотреть надо. Тут сидеть надо. — И перенёс свою точку наблюдения на восемь шагов вправо и ниже, к обломку надгробия, где ложбинка шла поперёк. — Вот отсюда он у меня весь как на ладошке будет ползти.

— Это я нашёл, — сказал Юдин. Он всё ещё лежал в траве, и сказал это, кажется, больше себе, чем нам.

— Ты нашёл, — согласился я. — Поэтому ты тут и стоишь.

Он поднялся, отряхнулся и стал совсем другой. Не смелый — этого за час не бывает, — а занятый. Занятый человек и испуганный человек стоят по-разному.

Дёмина я определил в избу — с его перевязанной кистью на ограде было нечего делать, — и в избе дал ему работу здоровой рукой: подавать. Патроны, воду, обоймы. Он выслушал, потом сунул перевязанную руку за борт шинели и сказал:

— Она у меня почти не болит. Я и в цепи могу.

— Кисть сгибается?

— Сгибается.

— Покажи.

Он не показал. Отвёл глаза и сказал, что холодно разматывать. Я не стал настаивать при людях — у меня не было времени, и у меня было ощущение, что тут надо не давить, а дожидаться, — но я заметил и запомнил. Человек, который прячет руку, прячет её не от меня. Он прячет её от мысли, что его отправят в тыл и он останется один среди чужих.

— Подавать будешь, — сказал я. — И считать, сколько подал. Утром спрошу.

Стемнело быстро, как всегда в конце ноября: только что была видна дорога — и вот уже не видна.

Из двадцати двух мальчишек пополнения на ногах оставалось двенадцать. Теперь каждый из этих двенадцати стоял рядом с кем-то, кто воюет дольше него, и каждый из них мог вслух сказать три вещи: куда он смотрит, как подаст знак и куда отойдёт, если станет нельзя оставаться.

Больше в ту минуту я им дать не мог.

Свежий след на дороге нашёл Опарин.

Он позвал меня коротким свистом от амбарного прохода, и я пришёл и сел рядом с ним на корточки, и он посветил мне заслонённым ладонью огоньком — не фонарём, у нас не было фонаря, а спичкой, которую он держал в ковше из обеих ладоней так, что свет ложился в одну точку.

— Гляди сюда, — сказал он. — И сюда. И не наступи.

На обочине, где грязь была разъезжена колёсами и подсохла коркой, шёл одиночный след. Отпечаток был чужой — с поперечными грунтозацепами и круглыми шляпками гвоздей по краю подошвы, и шёл он не по дороге, а вдоль неё, с наружной стороны кювета, там, где человек идёт, если не хочет оставлять следов на укатанном.

— Свежий?

— Корка не обмялась, — сказал Опарин и потушил спичку пальцами. — Час, может, полтора. И вот что, Андрюха: он не прошёл. Он тут постоял.

Он был прав. В одном месте отпечатки стояли рядом, носками в одну сторону, и рядом с ними в глине была вмятина от приклада или от колена.

Стояли они так, что оттуда, из-за кювета, отлично просматривался выезд с площади на дорогу — тот самый, единственный, по которому всегда и все выезжали из Взгорья.

— Ну, — сказал Опарин, вставая и разминая колени. — Он за час далеко не ушёл. Дай мне двоих, я по канаве до кустов дойду и посмотрю. Может, он там и сидит.

— А может, и не сидит.

— Так и узнаем.

— Кондрат Силантьич. Если он сидит и ты его возьмёшь — хорошо. Если он ушёл — ты мне на два часа выключишь трёх человек и оставишь амбар без старшего. А если их двое и второй лежит с той стороны от кустов — ты мне их и отдашь.

Он засопел.

— Я, между прочим, не мальчик.

— Я знаю. Поэтому и не пушу.

— Тогда что? — сказал он уже сердито. — Так и будем сидеть и ждать, пока он нас зарисует?

— Нет. Мы ему покажем то, что он ждёт увидеть.

Я объяснил, и он послушал, и ворчал ещё минуты две, но ворчал уже по-другому — так ворчат, когда прикидывают, как делать.

Мы сделали вот что.

Пустую телегу выкатили на площадь и поставили её за уцелевшим куском ограды так, чтобы с дороги было видно край оглобли и колесо — и всё. Телега как телега: стоит у выезда, ждёт погрузки. Возле неё на протянутой верёвке Хвостов повесил две шинели с убитых, чтобы ветер их шевелил. Раз в четверть часа кто-нибудь из резерва проходил за уцелевшей оградой с пустым ящиком. С дороги на миг показывался верх груза, сам человек оставался ниже камня. Живых у телеги не было ни одного.

А телеги настоящие мы пустили через сад.

Сад начинался за церковной оградой, от него оставались десятка два яблонь с обломанными ветками, и между ними шла старая межа — две колеи, заросшие травой, по которым до войны, видимо, возили навоз. Колеи выводили к амбару, а за амбаром был широкий проход между глухой стеной и плетнём, и оттуда — на дорогу, но не у выезда, а много ниже, за поворотом, куда от кювета уже не смотрело ни одного глаза.

Возницу привёл Опарин, потому что тот отказался ехать «в кусты».

— Куда я в темноте по саду, — сказал возница, коренастый мужик в бабьем платке поверх шапки. — У меня лошадь пуганая. У меня раненые. Я поеду где ездят.

— Где ездят — там тебя и ждут, — сказал Опарин. — Ты слышишь, что тебе говорят? Там след чужой.

— Мало ли чей след.

Я не стал спорить. Я взял его лошадь под уздцы и пошёл впереди пешком, и Опарин пошёл рядом с колесом, и так мы провели первую упряжку через сад шагом, и она прошла.

В саду возница вдруг сказал: «Стой». Мы стали. Он показал кнутовищем на низкую ветку, чёрную на чёрном, — я её не видел, а он видел.

— Лошадь-то пройдёт, — сказал он. — А вот кто с раненым сидит — тому она прямо по темечку.

Хвостов подошёл с топориком и срубил её в два удара, и мы оттащили в сторону. Потом я поставил двух человек на тёмных поворотах — одного у второй яблони, другого у амбарного угла — не охранять, а просто стоять и показывать рукой, куда правее. Потому что ночью самая длинная дорога — та, на которой ты не знаешь, где следующий поворот.

— Ну вот, — сказал возница другим голосом, когда мы вышли к плетню. — Так-то можно.

Амбарный проход мы закрыли не растяжкой — по соседним дворам ещё ходили свои, и я не хотел утром выковыривать из плетня чьи-нибудь кишки. Мы посадили там двоих с гранатами наготове: Селиванова, с его перевязанным плечом, — он всё равно не мог идти в цепь, но сидеть и смотреть мог, — и одного из новеньких.

— Прохор, ты как? — спросил я.

— Сижу, — сказал Селиванов. — Сидеть я сегодня мастер. Ты, Андрюха, скажи мне только, кто по этой дороге ходить будет, чтоб я своего не приголубил.

— Свои идут с телегой и говорят «Опарин». Всё, что без телеги и молча, — не свои.

— Опарин так Опарин, — сказал Селиванов. — Хорошее слово. Немец такое не выговорит.

Ковригин пришёл к телеге последним, когда на неё уже уложили двоих и клали третьего. Он не сел.

— Поезжай, — сказал он вознице. — Я со второй.

— Иван Кузьмич, — сказал я, — вам бы с первой.

— С первой поедет тот, кого мы не довезём, если он пролежит ещё час, — сказал Ковригин и повернулся к своему санитару, молодому, с обмотанной тряпкой головой: — Запоминай. После этих — двое из избы, потом с бедром. С бедром последним, он терпит. Понял? Повтори.

Санитар повторил.

С первой телегой поехал санитар. Вторую задержали на дороге: к ней Ковригин собирался, но до её прихода остался у своих раненых. Телега ушла в сад. Мы слушали, как колёса меняют звук — сначала чмокают в грязи двора, потом шелестят по траве меж яблонь, потом опять чмокают уже за амбаром, — и всё это время я ловил себя на том, что жду выстрела с дороги и заранее решаю, что буду делать, если он раздастся.

Выстрела не было.

Скворцов прибежал через семь минут, задохнувшись.

— Прости! За поворот прошли, я до самого угла добежал, они там на укатанное вышли и ходу!

— Молодец. Теперь назад к паперти.

Он убежал. А я остался стоять у амбара, и Опарин рядом со мной сказал, глядя в темноту:

— Я, знаешь, что подумал. Мои-то ящики, которые ты меня заставил в избу тащить, — за них уже сегодня вечером взялись. Прикрытие брало.

— И?

— И ничего. — Он помолчал. — Раньше бы я сказал: растащили запас, теперь ищи-свищи. А выходит, что запас теперь там, где руки.

К полуночи у нас было четыре живых места, связанных канавой, садом и человеческим счётом, и оставалось сделать последнее — придумать, как северный пост ночью позовёт на помощь, не выдав себя голосом.

Днём это решалось просто: Хвостов привязал к столбику красный лоскут, который с избы было видно и который немцу ничего не говорил. Ночью лоскута не существует.

— Шнур, — сказал Хвостов. — От вас до избы. Дёрнул раз — вижу; дёрнул два — идут; дёрнул три — иду сам к вам.

— Если он порвётся?

— Тогда голосом. Слово короткое надо.

Слово выбрали «ольха» — я не помню, кто предложил, кажется, Дьячков. Оно коротко звучит, его не спутаешь ни с «алярм», ни с чем ещё, и оно не похоже на команду.

Шнур мы тянули втроем: Хвостов, Юдин и я. Немецкой проволоки в подвале нашлось два мотка, тонкой, гладкой, чёрной, — они, видно, тянули её к своим постам и не всё выбрали. Мы протянули её от обломка надгробия у северной ограды через канаву к углу избы, привязали к вбитому в сруб гвоздю, и я сказал: пробуем.

Юдин дёрнул. В избе стукнуло.

— Ещё раз.

Дёрнул ещё. Стукнуло слабее. На третий раз не стукнуло совсем.

Я пошёл по линии пальцами, в темноте, на четвереньках почти, перебирая проволоку рукой, — сорок шагов, шестьдесят, — и на выходе из канавы нащупал, где она цепляет. Там из полусгнившей слепи торчал гвоздь, кованый, старый, загнутый крючком, и проволока при натяжении ложилась на него и вставала, и дальше усилие не шло.

— Хвостов.

Он пришёл, потрогал, хмыкнул.

— Хозяйский гвоздь, — сказал он с уважением. — Вот на таких вся деревня и держится.

Он не стал выдёргивать гвоздь — сказал, что дерево крошится и слегка упадёт. Он перекинул проволоку поверх, привязал к сучку выше, и получилось, что она идёт на весу и ни на

чём не лежит. После этого дёрнуло три раза из трёх, и в избе Дёмин здоровой рукой ответил двумя ударами по ведру — принял.

Я прошёл линию ещё раз, уже целиком, от начала до конца, и не потому, что не доверял Хвостову, а потому, что знал за собой: всё, что не проверено ногами, проверяется потом кровью.

И заодно, проходя, я увидел, что Хвостов сделал ещё одну вещь, о которой я его не просил.

В ограде, в двадцати шагах левее настоящего поста, был осыпавшийся участок. Хвостов выбрал из него несколько камней, и получилась щель — вернее, получилось нечто, очень похожее на щель, из которой смотрят: тёмная дыра в человеческий кулак, с наваленными по краям камнями и с чёрным тряпьем в глубине.

— Это что?

— Это чтоб было куда кидать, — сказал Хвостов. — Он же ищет, где мы. Пусть найдёт.

— А если он найдёт и в неё не попадёт?

— Значит, руки кривые, — сказал Хвостов и пошёл спать свои полтора часа.

Ночь была холодная, тихая и очень длинная. Около часу ночи поднялся туман — жидкий, по колено, и от этого всё, что двигалось, стало двигаться как будто без ног.

Я сидел у алтарной стены с резервом, привалившись затылком к холодному камню, и на несколько минут, кажется, всё-таки провалился, потому что очнулся от того, что кто-то рядом переступил.

И в ту же секунду, где-то на севере, за оградой, коротко свистнуло.

Не пуля. Свист был человеческий: две ноты, вверх и вниз, как свистят сторожа, как свистят мальчишки, зовущие собаку.

Я взялся за проволоку — у нас в резерве был отвод, — и она под моими пальцами дважды коротко дёрнулась сама.

Юдин увидел раньше меня.

Потом он мне рассказал, как это было, и рассказал очень подробно, потому что в нём это ещё горело.

Сначала он услышал свист и понял, что свистят не свои. Потом — ничего, долгую пустую минуту. Потом снизу, от просевшего участка ограды, там, где сам он днём нашёл мёртвую полосу, пошёл шорох: не шаги, а именно шорох, как будто по траве тянут мешок.

Он приложился и навёл на звук. Палец лёг на спуск — он сказал, что палец лёг сам, без него.

И он его снял.

Он снял его потому, что не видел, во что стреляет, а стрелять в шум означало показать, где он сидит, и остаться после этого одному. Вместо выстрела он нашёл рукой проволоку и дёрнул два раза: идут.

Из избы не ответили ударом по ведру — там уже не до ведра, — но Дёмин, который сидел у окна с той стороны, тронул проволоку в ответ. Юдин сказал, что это было как чужая рука в темноте.

А потом с той стороны ограды кто-то приподнялся — он увидел движение над камнем — и швырнул.

Граната ударилась о камни ложной бойницы, съехала в дыру и разорвалась внутри осыпи.

Взрыв был глухой и очень близкий. Юдина хлестнуло крошкой по щеке и по каске, и на несколько секунд он оглох так, что видел, как шевелятся ветки, и не слышал, как они шуршат.

Почти одновременно ударили по избе. Это я узнал после: второй немец сидел ближе к саду и дал очередь по окну. Дёмин шарахнулся от брызнувших щепок, поскользнулся и ударился затылком о нижний венец. Рама повисла на одной петле.

Стрелок не ушёл. Он перенёс огонь на дверь — бил коротко, по две-три пули, ожидая, что оттуда кто-нибудь полезет.

Двое из пополнения, застигнутые в сенях, дёрнулись наружу, на грохот. Скворцов поймал одного за шинель, второй споткнулся о товарища.

— Назад! В проём бьёт!

Сам Скворцов опустился на четвереньки, добрался вдоль стены до Дёмина и оттащил его за печь. Не через дверь — за внутренний простенок, три шага по полу. Он потряс его за здоровое плечо; Дёмин открыл глаза и посмотрел мимо.

Глава 3



— Слышишь?

Дёмин не слышал. Но когда Скворцов сжал ему плечо, он поднял здоровую руку и сжал в ответ.

Дьячков увёл двоих к саду и дал по вспышкам два раза, заставив стрелка сменить место. В эту паузу Скворцов с напарником вынесли Дёмина задним выходом к Ковригину. Всё это происходило в избе, пока Юдин оставался на огаде и следил за просадкой: немца там он больше не видел, но оставить её пустой не мог.

Я добежал, когда всё уже кончилось.

Я добирался от алтарной стены по канаве, двести восемьдесят метров в темноте, и на повороте пропустил посыльного из избы. За эти несколько минут люди успели сделать то, чему я их учил весь вечер.

Юдин стоял у пролома и вполголоса говорил соседней паре:

— В ту дыру бросили, в левую. В ту, где тряпки. Настоящий пост целый. Двоих видел: один у просадки, второй от кустов бил, тот ушёл правее, к бузине.

Он говорил ровно, немного громче, чем нужно, — глухота ещё не прошла.

Я подошёл и стал рядом. У него по щеке шли две тонкие царапины от каменной крошки, и он их не вытирал.

— Дёмин где?

— Посыльный сказал, у фельдшера. Скворцов вытащил. — И тут же, торопливо, как будто боялся, что не успеет: — Я не стрелял. Я по звуку не стрелял, я дёрнул.

— Я видел, что ты дёрнул, — сказал я. — У меня в руке отвод.

Он замолчал. Потом сказал очень тихо, уже не докладывая:

— Я думал, я тогда умру, если не выстрелю.

— Все так думают. — Я положил руку на камень рядом с его рукой. — Теперь смотри правее, где бузина. Слушай сад. Всё остальное — потом.

Хвалить его в тот момент было нельзя. Похвала — это точка, а ночь ещё не кончилась. Немцы отходили.

Их было не видно, но было слышно — по тому, как в двух местах сразу тронулась трава, и по тому, как за оградой негромко брякнуло железо: кто-то задел стволом о камень. Они уходили наискось, к перелеску, той же дорогой, какой пришли.

И вот тут меня и скрутило желание, с которым я потом дрался всю оставшуюся войну.

Их было двое. Может, трое. Они только что бросили гранату в мой пост, оглушили моего человека и теперь уходили — уставшие, злые, спиной ко мне, по мокрому лугу, где их можно было догнать. У меня за алтарной стеной сидел резерв: шесть человек, из них четверо старых, и все они не спали и все они хотели того же самого.

Я вернулся к резерву, сказал: «За мной», и мы вышли.

Мы успели сделать шагов десять от угла — я, Опарин и четверо, — когда из сада, из-за яблонь, одиночно ударило.

Пуля щёлкнула в угол каменной кладки в полуметре от моего плеча, и брызнуло крошкой, и я услышал, как эта крошка ссыпалась в траву.

Мы разом пригнулись и отпрянули за выступ кладки. Я прижал Опарина плечом к стене. Из сада.

Не из-за ограды, куда мы смотрели. Не с севера, откуда пришли. Из сада, у нас за спиной справа, с той стороны, куда мы всей группой сейчас собирались повернуть корпусом, огибая угол.

Я прижимался к камню ещё секунду, и за эту секунду у меня в голове сложилось всё: и стоянка на обочине днём, и свист перед подходом, и то, что граната полетела в первую попавшуюся дыру, — они не разведывали, где у нас пост. Они проверяли, есть ли у нас пост вообще. И приготовили того, кто будет смотреть, куда мы после этого побежим.

А побежать мы могли только одним способом: всей группой, мимо двора, оставив за спиной пустой проход между оградой и церковью — тот самый, по которому от северного поста ходят к раненым и по которому носилки идут в подвал.

— Назад, — сказал я.

Опарин уже поднял руку, показывая: вон он, вон, уходит, ещё видно, — и я увидел тоже: серое пятно на сером лугу, метрах в ста двадцати, ныряющее в туман.

— Кондрат Силантыч. Назад.

— Да он же вот! — сказал Опарин с болью в голосе.

— Обернись.

Он обернулся. В проходе, в десяти шагах от нас, стоял санитар — тот самый молодой, с тряпкой на голове, — с пустыми носилками. Он вышел на шум, замер и теперь ждал, пока мы решим, что делать, и не знал, идти ему или стоять. Ему нужно было пройти к избе и вынести оттуда следующего, и весь его путь лежал через двор, который мы сейчас собирались оставить без единого своего глаза.

— Ложись! К стене! — крикнул я санитару. Тот опустился вместе с носилками и пополз за выступ.

— Мы сейчас уйдём на сто метров, — сказал я уже Опарину. — Этот человек останется тут один. И тот, кто бьёт из сада, останется тут с ним.

Опарин посмотрел на санитаря. Потом на луг, где уже ничего не было видно.

— Тьфу, — сказал он.

Мы вернулись по одному, а не гурьбой, и я пошёл последним. И, честно говоря, идти последним было не благородство. Просто мне нужны были лишние две секунды, чтобы перестать хотеть.

Потом мы закрывали проход.

В церкви у стены стояли снятые с петель нары — немцы сколотили их из церковных лавок, и половина лавок уцелела целиком: тяжёлые, дубовые, с толстой спинкой, трёхаршинные. Мы с Хвостовым выволокли одну и потащили через двор.

— Прикроет? — спросил кто-то из новеньких, помогая.

— Дерево пуля прошьёт насквозь, — сказал я. — И тебя за ним прошьёт. Не думай, что за ней можно стоять.

— А зачем тогда?

— Затем, что за ней не видно, кто и когда прошёл.

Мы поставили её не отдельно, а вплотную к тому куску каменной ограды, который ещё держался, — вдоль, торцом к саду, — и получилось, что человек, идущий от избы к церкви, на два самых опасных шага пропадает из поля зрения того, кто смотрит из сада. Из-за этого стрелок не мог поймать момент смены: он перестал понимать, ходят там или нет.

Хвостов ещё насыпал у торца горку кирпича от рухнувшей печи — вот это уже была настоящая защита, в две ладони толщиной.

Одного человека я оставил смотреть в сад. Второго послал пройти к избе и вернуться.

Он прошёл и вернулся.

— Пусто? — спросил я.

— Пусто, — сказал он. — Только фельдшер спрашивает, скоро ли телега.

Только после этого я отпустил резерв за алтарную стену.

Они уходили молча, и я видел, как Опарин сплюнул, а один из молодых оглянулся на луг — на тот самый пустой луг, — и в этом взгляде было всё, что они обо мне сейчас думали. Они видели уходящего немца и не видели никакой победы. Я тоже её не видел. Когда через четверть часа по этому проходу санитары пронесли к телеге бойца с раздробленной ступнёй и никто по ним не выстрелил, объяснять во второй раз уже не понадобилось, но я заметил и то, что никто мне и не сказал ничего.

Слов «ты был прав» на войне не говорят. Говорят молчанием и тем, что в следующий раз выполняют быстрее.

Про банки придумал Хвостов, а испортил и тем спас всё дело Опарин.

Было это так. Когда ночная разведка ушла и стало ясно, что они вернутся — не эти, так другие, и вернутся не за оградой шарить, а искать дорогу внутрь, — я собрал у алтарной стены троих: Хвостова, Опарина и Дьячкова.

— Они нас щупали, — сказал я. — Теперь они знают, что пост тут есть. Следующий раз пойдут не на пост.

— А куда? — сказал Дьячков.

— Туда, где мы сами ходим.

Все трое замолчали, и я видел по лицам, что дошло до всех сразу. Канава. Двести восемьдесят метров скрытого хода от кладбищенской ограды прямо к церковному двору. Наша артерия. Они тут стояли три недели — эту канаву они знают лучше моего, я её нашёл утром, а они по ней, может, ходили каждый день за водой.

— Перекрыть, — сказал Дьячков. — Двоих в канаву, и всё.

— Двоих в канаву — и я потерял связь. Я по ней посыльных гоняю.

— Тогда что? Сидеть и слушать?

— Слушать, — сказал Хвостов. Он сидел на корточках, перебирая в пальцах обрывок той самой немецкой проволоки, и говорил, как всегда, через паузу, будто сперва делал вещь в

голове, а потом уже описывал готовое. — В подвале банки стоят. Ихние. Рядами, одна в другую вставлены, штук сорок.

— Ну.

— Проволоку поперёк, банки на проволоку. Он пойдёт — зацепит, они брякнут.

— Он услышит, что брякнули, — сказал Опарин, — и поймёт, что его слышали.

— Пусть поймёт. Он от этого обратно не пойдёт, он поспешит. А спешащего слышно в два раза лучше.

Мы натянули её от куста бузины поперёк выхода канавы во двор, низко, на ладонь от земли, чтоб задевали не рукой, а ногой. Банки подвязали не на середине, а на нашем конце — на палке, воткнутой в землю за кирпичной горкой, — так, чтобы звенело у нас под ухом, а не там, где будет немец. Хвостов возился с этим минут двадцать, подвязывая их за донца проволочными петельками, и ругался вполголоса.

— Чего ты?

— Тяжёлые надо и лёгкие вперемешку, — сказал он. — Одни тяжёлые — гуд идёт, не разберёшь. А так — звонко.

Когда всё было готово, Опарин взял пустой ящик из-под патронов, поднял его на плечо, как носят, и пошёл по канаве.

— Ты куда?

— А мне тут ходить, — сказал он. — Мне тут с ящиком ходить, мне тут ночью с ящиком ходить, и я твою удавку в темноте поймаю сапогом, и она у меня будет брякать всю ночь, и вы к ней привыкнете, и когда он придёт, вы скажете — а, это Опарин.

Он прошёл всю линию, разок задел — и шнур с банками отозвался так, что у меня похолодело между лопаток, — и потом они с Хвостовым перевешивали это место ещё дважды: отвели проволоку от тропы своих, а тропу для своих отметили двумя воткнутыми палками, между которыми надо переступить.

— Вот теперь свой пройдёт и не тронет, — сказал Опарин. — А чужой не знает, где переступить.

Между тремя и четырьмя был час, когда ничего не происходило, и это оказалось тяжелее, чем когда происходило.

В избе Дьячков раздобыл кипятку — вскипятили в чужом ведре на той самой печке, — и обносил по кругу, по полкружки, и каждому доставалось два глотка горячего и полсухаря. Я зашёл туда на пять минут, потому что надо было посмотреть на Дёмина и потому что ноги сами занесли на тепло.

— Садись, — сказал Дьячков. — Пей. Не стой над душой.

Я сел на край лавки. Кружка была общая, обжигала губы, и вода пахла железом и чужим супом.

Опарин сидел напротив, у самого огня, и у него на коленях лежал подсумок.

— Нашёлся? — спросил я.

— Нашёлся, — сказал он с достоинством. — В амбаре у плетня валялся, я его ногой нащупал, когда ходил проверять твою удавку. Целый.

— Ну вот видишь. Само нашлось.

— Само ничего не находится, — сказал Опарин. — Ноги находят.

Кто-то в углу засмеялся, коротко и хрипло, и тут же оборвал смех, будто застыдился. Юдин, которого на полчаса сменили на ограде, сидевший у печи с кружкой в обеих руках, поднял голову и посмотрел в угол, а потом на меня — проверяя, можно ли.

Я допил свои два глотка, передал кружку дальше и вышел.

Во дворе было тихо, светил серп луны сквозь мокрую муть, и от ограды тянуло сырой известью. Я постоял, привалившись к стене, расстегнул шинель и сунул руку за пазуху, во внутренний карман, где в тряпице лежал деревянный гребень.

Он был там, целый: гладкая спинка, шестнадцатый зубец тоньше остальных — тот, за который цепляется палец, если вести не глядя. Я его не вынимал и не разглядывал. Я просто дотронулся, проверил, что он есть, и застегнулся обратно.

Где-то за перелеском, далеко, мягко ухнуло и покатилося — не по нам, где-то в стороне, у соседей.

Я вытер ладонь о полу шинели и пошёл проверять шнур ещё раз.

Они пришли около шести, в самый глухой час, когда туман стоял уже по пояс.

Сначала не звякнуло ничего. Сначала Юдин передал по шнуру одно короткое: вижу.

Он мне после сказал, что он не столько увидел, сколько заметил, что тёмная полоса под оградой изменила длину. Он смотрел туда весь час — в ту самую мёртвую полосу, которую днём нашёл сам, лёжа в траве, — и у него в глазах стояла её форма, и когда форма стала другой, он это понял раньше, чем сумел бы объяснить.

Тогда же и в то же самое время проволока у нас во дворе коротко дёрнулась и замерла, не зазвенев: кто-то у выхода из канавы нащупал её и, вместо того чтобы наступить, взял в руку и перекусил.

Мы услышали не звон банок. Мы услышали короткий чистый щелчок кусачек — раз, и через секунду ещё раз, — и потом лёгкий шорох, с каким освободившийся конец проволоки уполз в траву.

— Пошли, — сказал Хвостов у меня над ухом, и я понял, что он тоже не спал.

Два признака сошлись в одном: Юдин с ограды доложил движение, а у нас во дворе резали проволоку. Значит, их не меньше двух групп, и одна уже в канаве.

— Свои все на местах? — спросил я.

— Все, — сказал Дьячков.

— Тогда — по порядку. Северные первые. Никто не начинает раньше северных.

Хвостов взял в руки не оружие, а моток, и я не понял зачем, а потом понял: он отвязал наш конец шнура с банками от палки и просто положил на землю, чтоб они не брякнули у нас самих под ногами, когда мы будем перебегать.

Юдин ударил первым, коротко, тремя выстрелами с промежутками, и его сменный напарник от надгробия — двумя. Хвостов оставался со мной у банок; после первой тревоги я передал его пост другому старому бойцу. Я слышал, как внизу, под оградой, вскрикнули и завозились.

Из избы захотели вступить сразу. Я был уже во дворе и успел крикнуть в окно:

— Не стрелять! Ждать!

— Да они же там!

— Их первые залегли. Ждите следующих.

Это самое трудное, что можно потребовать от людей, которые слышат бой в шестидесяти шагах. Но если бы изба открылась одновременно с оградой, немцы залегли бы все разом и лежали бы, и мы бы всю ночь били по траве. А так — передние легли, а задние, которые ещё шли и ничего не поняли, продолжали двигаться, и через полминуты они выползли из-за угла плетня прямо перед избой, поперёк её окон, на двадцать шагов.

Вот тогда изба и ударила.

И тогда же сверху, со звонницы, начал работать Тарасов — не помню, как его звали по имени, пожилой такой, из сибиряков, — и тот, кто лежал в саду, прикрывая, оказался у него как на ладони, потому что сад со звонницы просматривался поверх яблонь.

Наверх я послал двоих, и только двоих: наблюдателя и стрелка. Мне очень хотелось посадить туда ещё пару человек с патронами, потому что оттуда видно всё. Я не посадил. Утром по этой колокольне неизбежно положат мину, и всё, что будет на лестнице, посыплется вниз по спирали.

Хвостов, когда проволоку перерезали, полез было к бузине.

— Куда?

— Связать. Она у меня в одном месте только...

Я поймал Хвостова за ремень и потянул под кирпичи.

— Сиди.

— Я быстро. — Он ещё держал в пальцах оборванный конец.

— Хвостов. Ты сейчас вылезешь чинить верёвку перед людьми, которые пришли тебя убивать.

Он сел обратно. Сказал угрюмо:

— Жалко. Хорошая была снасть.

— Снасть кончилась. Порядок остался.

Он это понял быстрее, чем я успел договорить, и то, что он сделал дальше, было уже не про проволоку: он передал Опарину, что во дворе чужие, и Опарин по цепочке — в избу и на амбарный проход. То есть известие, ради которого мы вешали банки, всё равно дошло. Только не звоном, а людьми.

Немцы не ушли сразу. Они попробовали разойтись: часть отползала к канаве, а двое — и вот это я уже видел своими глазами — пошли не назад, а вперёд, вдоль стены церкви, под самой стеной, в мёртвом пространстве, куда ни с ограды, ни с избы не достать.

Они шли к пролому.

Пролом немцы пробили сами, ещё когда тут сидели: выломали кладку в стене трапезной, чтобы выходить во двор, минуя паперть, и заложили низ кирпичом, оставив лаз в рост согнутого человека. Изнутри от этого лаза три шага до лестницы в подвал. А в подвале у меня лежали пятеро, которых не успели увезти, и с ними санитар.

Я побежал двором и застрял.

Именно застрял: у узкого поворота между кирпичной горкой и церковной лавкой мне навстречу несли на носилках — тащили того, с бедром, к утренней телеге, — и в этом месте нельзя было разойтись, и нельзя было крикнуть «бросьте его», и нельзя было перелезть, потому что за лавкой начиналась полоса, видимая из сада.

Я жался спиной в стену, пропуская их, — это заняло, наверно, секунд двенадцать, — и за эти двенадцать секунд у пролома началась и кончилась стрельба.

Внутри, у пролома, был Дёмин.

Ковригин оставил его в церкви до утренней телеги — оглушённого, со звоном в голове, не годного никуда, — и Дёмин, вместо того чтобы лежать, сидел у лаза на ящике, потому что ему было стыдно лежать.

Когда после первых выстрелов стало ясно, что вторая группа лезет двором, я передал через посыльного: северную ограду принимает соседняя пара, Юдин отходит канавой к церкви. Он успел пройти к трапезной, пока немцы ползли под наружной стеной; там и увидел Дёмина у лаза.

Приказа на каждое следующее движение у него не было. Я был во дворе, за поворотом, за чужими носилками, и меня там не было.

Первый немец сунулся в лаз головой и плечом.

Ту дубовую створку, которую я вечером оттащил от санитарной тропы, Хвостов притащил к пролому и поставил на попа рядом с лазом — она стояла себе и стояла, никому не мешая. Юдин её не поднимал и не задумывал ничего хитрого. Он её просто толкнул.

Створка пошла плашмя на входящего и прижала ему правое плечо и ствол к краю кладки. Немец дёрнулся, попытался повернуть оружие и не смог — ему мешал собственный локоть и косяк, — и в этот момент Юдин крикнул через пролом во двор одно слово:

— Хвостов!

Не «помогите» и не «немцы». Имя. Хвостов был снаружи, слева, у кирпичной горки, и, услышав своё имя от пролома, он не стал бежать внутрь — он сместился на четыре шага вбок и ударил вдоль стены, туда, откуда лезли, во фланг тем, кто ждал своей очереди у лаза.

Глава 4



Дёмин подполз к винтовке, которую Юдин положил, наваливаясь на дверь. Прижал приклад коленом к полу, здоровой рукой открыл затвор и вложил один патрон. Дослал и поднял оружие за цевьё. Немец перестал давить в створку: снаружи стрелял Хвостов, сбоку на него смотрел ствол. Юдин смог перехватить заряженную винтовку, отступить и приказать пленному выпустить автомат.

Когда я наконец пролез мимо носилок и добежал, всё было кончено.

Юдин стоял в двух шагах от лаза, держа на прицеле немца, сидевшего на кирпичах. Оружие немца лежало в стороне, метрах в полутора; сам он держал ладони на весу, растопыренные, и что-то быстро говорил, и по голосу было слышно, что он говорит одно и то же, третий или четвёртый раз подряд.

Юдин не опускал ствол. Он не знал, что теперь делать.

Я видел, как у него ходит спина от дыхания, и понимал, что сейчас он может выстрелить — не от злости, а просто оттого, что никто не сказал ему, что можно перестать.

— Юдин, — сказал я негромко и обыкновенно, будто звал его через двор. — Шаг назад. Ствол держи. Хвостов, заberi его за стену.

Он сделал шаг назад — точно, ровно один. Хвостов, не заслоняя ему сектора, зашёл сбоку, ногой отбросил дальше чужое оружие и вывел пленного за угол.

Второй немец уходил тем же путём, каким пришёл, под стеной. Его было видно, и по нему можно было работать, но там уже сидела пара от избы и его вела, и я сказал:

— Не трогать, пока не выйдет из мёртвой зоны.

Он вышел не там, где мы ждали, и всё-таки ушёл.

Пленного обыскали у стены при свете спички. Кроме обычного — фляга, чужой хлеб, сигареты, два запасных магазина, — у него в кармане шинели оказалась сложенная вчетверо бумага и огрызок химического карандаша.

— Держи, — сказал Хвостов, передавая мне, и добавил: — Кладовая у него неплохая. Сигареты возьми?

— Всё в одну кучу и охране. Сигареты тоже.

Потом я нашёл Юдина. Он сидел на корточках у стены, прислонившись спиной, и держал перед собой руки, и смотрел на них.

— Расскажи по порядку, — сказал я. — С какого места ты действовал сам?

Он подумал очень честно, и я видел, что он не подыскивает красивый ответ, а правда вспоминает.

— Ни с какого, — сказал он наконец. — Я, товарищ Гринёв, ничего не решал. Я дверь держал. Я её просто толкнул и держал. Я даже не думал.

— А кричать?

— А кричать... — Он пожал плечами. — Он же слева был. Кого ж ещё звать.

Вот в этом и было всё дело, и объяснить ему это в ту минуту я не мог, потому что он бы решил, что его хвалят из жалости. Он держал дверь — самое простое, что можно делать, — и именно это простое додержало проход до фланга Хвостова и до патрона Дёмина.

— Ты руки покажи, — сказал я.

Он показал. Правая ладонь была рассажена о железную оковку створки, вдоль, неглубоко, но грязно.

— К фельдшеру. Скажешь, я послал.

— Это ерунда.

— Это грязь, — сказал я. — Тебя не немец вынесет, тебя вот эта ерунда вынесет через неделю. Иди.

Он пошёл, и на третьем шаге обернулся:

— А Дёмин? Он же не слышит совсем.

— И он пойдёт. Вместе идите.

Бумага оказалась не картой, а обрывком — четвертушкой листа, оторванной по линейке от чего-то большего.

Мы разглядывали её втроём — я, Дьячков и Бортников — уже когда начало сереть, в церкви, у стены, где немцы выставили рядами свои пустые бутылки. Дьячков принёс огарок в жестяной банке. Бортников держал его возле бумаги, я разворачивал.

На четвертушке химическим карандашом были набросаны несколько линий и значков. Длинная кривая — дорога или речка. Поперёк неё двойная чёрточка — мост или гать. Кружок с крестиком внутри — и я, и Бортников одинаково подумали про церковь, потому что крестик. И ещё три коротких галочки рядом, сведённые остриями вниз, в стороне от всего, с цифрой не то «б», не то «в» рядом.

— Ну и что это, — сказал Бортников.

Пленного привели. Он был немолодой, лет тридцати пяти, с коротко стриженной седоватой головой, в белом маскхалате поверх шинели, с ободраным подбородком — приложился, когда его створкой приложило о кладку. Он сел там, где показали, и держался спокойно, как человек, который ждал, что его скоро обменяют на наших.

Переводчика у нас, разумеется, не было. Дьячков нахватался десятка немецких слов за эту осень, я — примерно столько же, и совершенно не те.

Я положил бумагу перед ним на ящик и ткнул пальцем в кружок с крестиком.

— Кирхе?

Он кивнул. Потом мотнул рукой в сторону — не вокруг себя, а наружу, за стену, на север, — и сказал что-то короткое, и пальцем показал на бумаге, откуда идёт линия дороги.

Я ткнул в три галочки.

Он замолчал. Посмотрел на меня, потом на Бортникова, потом на галочки. Потом сделал вот что: он показал двумя ладонями наклонную трубу — коротко, буднично, без всякого желания что-то нам разъяснить, просто отвечая на вопрос, — и сверху уронил в неё воображаемый предмет. И сказал слово, которого я не понял, и добавил жестом: три.

Потом посмотрел на меня и вдруг очень явственно показал пальцем на нас с Бортниковым — и растопырил пальцы, изображая разлёт, и хмыкнул.

— Ах ты сволочь, — сказал Дьячков без всякой злобы.

— Минами он нас пугает, — сказал Бортников.

— Может, пугает, — сказал я. — Но площадь от этого не перестанет быть пристрелянной.

Бортников попытался спросить когда, показал на часы. Немец повторил свою фразу и усмехнулся. Больше мы друг друга не понимали. Ротный велел отправить его в штаб с бумагой, а пока оставить под охраной: переводчик разберётся. Мы не могли ждать перевода, прежде чем увести людей с замеченного немцами места.

Мне хватило того, что уже было: они шупали нас ночью, дважды, с двух сторон; три галочки могли обозначать миномёты, а могли означать другое, — и вся ночная работа делалась не для того, чтобы взять Взгорье двумя разведгруппами.

— Фрол Игнатьич, — сказал я. — Они смотрели, куда мы сядем.

Бортников взял бумагу, поднёс к огарку и прищурился. Потом отставил жестянку, чтобы горячий воск не капнул на схему.

— Резерв у тебя где?

— За алтарной стеной.

— А ночью где стоял? — Бортников провёл пальцем от значка церкви к ограде.

— Там же.

— И ночью оттуда бегали.

— Бегали, — сказал я. — И тот, который ушёл от пролома, шёл вдоль стены и видел, откуда бегали.

Бортников вернул бумагу и повернулся к выходу.

— Уводи к ризнице. По двое. Последних снимешь, когда новые примут сектор. И наблюдателей со звонницы вниз до света. — Он задержался у двери. — Знаю, только легли. Будить всё равно.

Они действительно только легли. Это была худшая работа за всю ночь.

Я пришёл к алтарной стене, где шестеро спали вповалку на соломе, натасканной с немецких нар, и сказал, что мы переходим. Из шестерых проснулись четверо. Опарин сел и молча стал наматывать обмотку. Один из молодых — Скворцов — сказал в темноту:

— Товарищ Гринёв, мы ж только легли.

— Знаю.

— А зачем?

И я ответил, потому что «затем, что приказано» — это ответ, который хорошо работает ровно один раз.

— Затем, что здесь нас видели.

Мы не пошли всей кучей. Одну пару я оставил на месте — смотреть тот же сектор, чтобы место не стало пустым и мёртвым; они же должны были потом отойти последними. Вторая пара понесла ящики. Третья заняла новое укрытие — угол хозяйственной пристройки у ризницы, где стена в два кирпича и два выхода.

Это заняло минут двадцать пять, и всё это время Скворцов таскал с таким лицом, что я старался на него не смотреть. Когда новая пара подтвердила, что видит прежний сектор, я вывел последних двоих из-под алтарной стены. На старой соломе никого не осталось.

Первая мина пришла около восьми, когда наконец рассвело и с востока на снежном небе проступила розовая полоса.

Свист, знакомый до тошноты, — короткий, шуршащий, как будто рвут мокрую бумагу, — и разрыв.

Она легла точно в угол между алтарной стеной и оградой. В то самое место, где мы спали.

Вторая — у колодца. Третья — на паперти, четвёртая опять к алтарной стене, и потом ещё три или четыре с недолётом в огород. Восемь мин, может, девять. Кусок ограды сложился внутрь, и туда посыпалась солома, наша солома, на которой полчаса назад лежали шестеро.

Мы сидели под пристройкой, и кирпич над головой вздрагивал, и с потолка сыпалась известковая труха.

Скворцов сидел напротив меня и смотрел на меня, не мигая, из-под каски. Он ничего не сказал. Он просто смотрел — и, кажется, дышал через раз.

— Дыши нормально, — сказал я ему. — Они по пустому месту бьют.

— Я понял, — сказал он.

И повторил через минуту, себе:

— Я понял.

Потом они перенесли огонь на колокольню и всадили туда две мины, сбив остаток кровли; Тарасов с наблюдателем спустились ещё до этого, за десять минут, по моей команде, потому что я не хотел проверять на них свою правоту. Больше на колокольню никто не поднимался до самого прихода смены.

По площади за всё утро не прошёл ни один человек.

Передовая группа смены пришла следом, в начале девятого: несколько бойцов стрелковой роты соседнего батальона, свежих, шумных, в новых валенках. Командовал ими молодой лейтенант, у которого сапоги были чище моей шинели.

Бортников принимал их у крайней избы, а не у церкви, и лейтенант, оглядываясь на пустую площадь, сказал:

— А где ваши-то?

— Тут, — сказал Бортников.

— Где?

— Да вот тут, — сказал ротный и показал рукой на избу, на ограду, на пристройку, на сад. — Гринёв!

Я подошёл.

Дальше Бортников сделал вещь, которой я не ожидал.

Он не стал ничего объяснять лейтенанту сам. Он подозвал Юдина — тот как раз шёл с перевязанной ладонью от Ковригина — и спросил:

— Юдин. Где твой сосед?

Юдин, не думая ни секунды, показал:

— Аким Тарасыч за надгробием, отсюда не видно, там ложбина. А второй мой — Дёмин — в церкви у пролома, он контуженый, его на телеге отправят.

— А кто вместо него подаёт?

— Скворцов подаёт. Я ему показал. — Юдин обернулся к церковному пролому: оттуда как раз вынесли пустой ящик.

— А если оттуда полезут, — Бортников кивнул на сад, — ты куда?

— Я никуда, — сказал Юдин. — Я сектор держу. От сада изба работает, у них там окно и кирпич насыпан.

Бортников повернулся к лейтенанту.

— Вчера, — сказал он, — этот боец был школьник.

Лейтенант что-то промычал.

— Только вы, товарищ лейтенант, — сказал Бортников, — своих на площадь не ставьте. Площадь у него пристреляна с точностью до сажени. Вам Гринёв покажет, где что, вы с ним обойдите.

Я обошёл с ним всё Взгорье, и это заняло полчаса, и лейтенант сначала слушал вполуха, а потом вытащил блокнот.

Когда я вернулся, Бортников сидел на приступке крайней избы и курил, и на коленях у него лежал мой — наш — счёт.

— Ну, — сказал он, проведя пальцем по фамилиям. — Двенадцать оставляю тебе. Часть мальчишек возвращаю по взводам, Хвостова, Опарина и Дьячкова закрепляю за тобой. Ночью все вместе держали, теперь будем хозяйство делить.

— Одиннадцать. Дёмина увозят.

— Двенадцать, — сказал он упрямо. — Дёмина пока не вычёркиваю. Ковригин ещё посмотрит, можно ли ему при нас остаться. — Он потянулся, крикнул. — В общем так, Гринёв. Отделение за тобой. Пока не будет приказа, но за тобой.

Я ждал каких-то слов про лычки, и он это увидел.

— Нет, — сказал он. — Ничего я тебе сейчас не дам. Мне не из чего давать, у меня в роте из командиров отделений двое осталось, и оба в бинтах. И не в этом дело. — Он глянул на меня снизу вверх. — Ты думаешь, командовать — это ночью расставить. Ночью расставить ты уже умеешь, я видел. А ты их теперь корми. Считай. Мыть води. Портянки им проверяй. Придут новые — принимай новых, я тебе обещал и сделаю. Это, Андрюха, длиннее, чем бой.

— Понял.

— Ни черта ты пока не понял, но поймёшь. — Он затыкнулся. — Спасибо тебе за ночь.

— Не за что.

— Есть за что, — сказал он и посмотрел на осевшую алтарную стену, в которую всадили две мины. — Вон за что.

Я успел только спросить его — и, спросив, понял, что задаю уже не мальчишеский вопрос:

— Фрол Игнатьич, а про раненых, которых ночью увезли, — кто доложит? Их в роте нет, а они живые. Если их сейчас никто не запишет, их завтра запишут пропавшими.

Бортников посмотрел на меня долго.

— Вот, — сказал он. — Вот это ты правильно спросил. Опарин считал?

— Считал.

— Пусть идёт к писарю и назовёт всех поимённо. И ты сходи с ним. Сам.

К половине десятого начали собирать имущество. Посты пока оставались за нами: офицер смены принял общий порядок, а людей на наш участок обещал привести после полудня.

Это тоже оказалось работой, а не облегчением: снять людей с точек так, чтобы не оголить всё сразу, дожидаться, пока сменщики ответят, забрать своё железо и не забрать чужое.

Опарин у пристройки собирал в мешок всё, что натаскали за ночь и утро: гильзы, чужие подсумки, пустые цинки, чью-то каску с дырой, кусок той самой перерезанной проволоки. Он сидел на корточках спиной ко мне и перебирал это, взвешивая в руке каждую вещь, — привычка, из-за которой он вечно находил у людей ржавые затворы.

И когда я подошёл, он как раз собирался кинуть в мешок мятый котелок.

— Стой, — сказал я.

— Чего? Битый он. Я его в хозяйство, под солидол.

— Дай сюда.

Он дал.

Это был его старый алюминиевый котелок, не тот овальный немецкий, из-за которого он спорил с Дьячковым. Бок помят, дужка перехвачена посередине медной проволокой —

аккуратно, в три витка, так, как чинят люди, у которых нет ничего другого и которые из-за этого берегут то, что есть.

Я эту проволочку знал. Я видел её позавчера, когда Гнутов сидел на бревне и ел, и чинил, и ругался, что дужка всё равно ползёт.

— Кондрат Силантьич, — сказал я. — Личные вещи не мешай с железом.

Опарин вытянул шею, посмотрел на дужку и медленно сел на землю.

— Федькин, — сказал он.

— Федькин.

Он не стал ни извиняться, ни оправдываться. Он вытащил из мешка обратно ещё две вещи — чей-то самодельный нож из напильника и деревянную ложку с выжженной буквой — и положил их отдельно, на подстеленную тряпку.

— Вот так надо было сразу, — сказал он, разглаживая тряпку под ложкой. — Замотался я. Чуть под солидол не пустил.

Я держал котелок обеими руками и не знал, куда его деть.

Всю ночь у меня для каждого живого человека находилось место: этому — сектор, этому — подавать, этого — на ограду, этого — назад к паперти. Всю ночь я только и делал, что раздавал людям места. А тут стояла вещь, для которой места не было, потому что человека, которому она принадлежала, больше не существовало нигде, и никакое распределение его не касалось.

Я отнёс котелок в избу и поставил на припечек — просто потому, что руки были заняты, а печь была рядом. В избе топили: там сушились, там лежали ходячие.

Дьячков нашёл меня там же. Он был серый, как зола, и от него пахло гарью и потом.

— Андрюха. Ложись. Два часа поспишь, потом всё разберём.

— Разбирать надо сейчас.

— Да господи, чего сейчас-то! Они лежат, они никуда не денутся.

— Мы денемся, — сказал я. — Сегодня у меня Хвостов, который позавчера кому-то чинил ремень, и Юдин, который видел, кто у кого пуговицу менял, и возница, который вёз. А завтра Хвостова угонят в боевое охранение, возницу — в обоз, и восемнадцать человек станут «неизвестными».

Дьячков открыл рот, закрыл. Сел на лавку.

— Восемнадцать, — повторил он. — Я, знаешь, считать боюсь.

— Тогда не считай. Называй.

Я взял у Ковригина карандаш, а бумагу нашёл в церкви — разлинованный немецкий бланк, чистый с обратной стороны, — и позвал Юдина. Он пришёл, сел напротив, и я сказал:

— Не про сегодня. Вспомни, с кем ты стоял до того, как пошли на Взгорье. Просто перечисли, кто рядом был.

Он начал перечислять и запутался на четвёртом имени — он называл живых и мёртвых подряд, вперемешку, не отделяя, и называл больше по приметам, чем по фамилиям: «этот, рыженький, он ещё в овраге сапог потерял», «Мишка, который из Клина», «а с ним рядом лежал тот, длинный, у него отец в депо...»

Я писал всё. Отдельно — тех, кого он точно видел живым после боя. Отдельно — тех, про кого ничего не знает. Список выходил кривой, с пометками, и всё-таки это был уже не «восемнадцать». Это были рыженький, Мишка из Клина и длинный, у которого отец в депо.

Дьячков смотрел на мою писанину через плечо и вдруг сказал:

— Про длинного я знаю. Костромин его фамилия. Он у меня спички просил.

Я записал: Костромин.

Бортников пришёл, когда солнце показалось над крышами. На столе лежал черновой список; против нескольких фамилий я оставил вопросительные знаки.

Он вошёл, нагнув голову под притолокой, и сразу увидел на припечке котелок. Постоял. Потом снял его — котелок успел нагреться от печи, тёплый, как живая вещь, — и поставил передо мной на стол. Рядом положил сложенный вдвое лист чистой бумаги, хорошей, писарской, и огрызок карандаша.

— Живых распределил, — сказал он. — Теперь мёртвых собери. Чтобы ни один без имени не ушёл.

Я взял котелок в руки. Он был тёплый от чужой печи — от печи, которую три недели топили немцы, а этой ночью топили уже мы.

— Соберу, — сказал я.

За окном стучали колёса: подходили телеги за последними ранеными, и кто-то во дворе кричал вознице, чтоб не смел ехать через площадь, а брал через сад, как люди ездят.

Глава 5



Котелок был тёплый снизу, с той стороны, которой стоял на печке. Я поставил его обратно на припечек, сложил черновой список и взял чистый лист Бортникова. За ночь у нас нашлось место каждому живому; теперь надо было проверить имена мёртвых. На вопросительных знаках похоронных не напишешь.

Ротный задержался у двери.

— Погодин двоих уже записал, — сказал он. — Остальных с ним сверь. Чтобы два списка потом не ругались.

— Где он?

— У северной стены. Я к Северину, потом к вам.

Я вышел из избы, обогнул площадь под оградой. В свежей воронке ещё стояла мутная вода. Паперть была пуста, как мы и велели, и я не пошёл к ней даже за оставленной там доской: взял для письма крышку ящика из ризницы.

Тела лежали вдоль северной церковной стены, где земля была в тени и где их не надо было носить далеко, — семнадцать под плащ-палатками и шинелями и один отдельно, у самого угла, потому что его принесли позже всех, из поля. Дьячков уже был там: сидел на корточках, курил в кулак и смотрел на свои сапоги.

— Пойдём, — сказал я.

— Пошли, — сказал он и поднялся, будто за ночь прибавилось ещё двадцать лет. — Ты с какого конца хочешь?

— С того, где мои.

Погодин пришёл через пять минут, с планшетом на ремне, в шинели не по росту, с красными на холоде пальцами, которыми он всё время перехватывал карандаш поудобнее и всё

равно держал его неправильно, как школьник. Ему было года двадцать два, он был из писарей, он не ходил вчера в поле, и я видел, что он это про себя знает и что от этого знания ему хуже, чем от любого упрёка.

— Товарищ Гринёв, — сказал он. — Я двоих не могу записать. Медальонов нет.

— Как нет?

— Вот так. — Он присел, отвернул край плащ-палатки, показал. — У этого пенал есть, а вкладыш пустой, не заполнен. Вовсе. Новая бумажка, чистая, он её даже не разворачивал. А у второго вместо вкладыша иголки с ниткой и щепоть махорки. Медальон есть, а человека в нём нет.

— Пополнение позавчера пришло, — сказал Дьячков. — Им эти пеналы выдали на ходу, в темноте, прямо из ящика. Кто заполнял, кто нет. Им говорили, что примета плохая.

— Я знаю, что говорили. — Погодин вздохнул и стал выводить в своём листе что-то очень аккуратное. — Я запишу «неизвестен, установить дополнительно». Потом, когда штаб запросит списки прибывшего пополнения, сверим по накладной, кто не вернулся, и тогда...

— Тогда — это когда?

— Не знаю. Недели через две. Через месяц.

— А похоронная уйдёт какая?

Он поднял на меня глаза и не отвёл их, и я ему это зачёл.

— Никакая не уйдёт, — сказал он. — Пока неизвестен, семье не пишут. А если я сейчас впишу фамилию наугад и ошибусь, то в одну деревню уйдёт похоронная на живого, а в другую не уйдёт ни на кого. И потом, через полгода, когда всё выяснится, я уже ничего не исправлю. Исправленная бумага время не возвращает. И надежду не возвращает. Его дома полгода живым ждать будут, а мать к тому времени от горя...

Он замолчал, потому что не знал, как закончить, и это была самая честная фраза, какую я слышал за это утро.

— Ты прав, — сказал я. — Дай нам час.

— Час?

— Час. Не запишешь «неизвестен» — час. Если за час я не принесу тебе двух свидетелей на каждого, пиши как знаешь, и я слова не скажу.

Погодин посмотрел на пустую строку, потом на меня, потом на Дьяčkова, который уже уходил к нашим, и сказал:

— Хорошо. Только свидетелей мне не по одному. По одному — это не свидетель, это память.

Хвостов нашёлся у кухни — он ел стоя, держа котелок на весу, и по тому, как он ел, было видно, что он не спал вовсе. Я сказал, что надо. Он дожевал, вытер рот тылом ладони и пошёл со мной, ничего не спросив.

У северной стены я откинул край палатки. Хвостов присел, посмотрел в лицо, покачал головой — не узнал. Потом взгляд его съехал вниз, на ремень, и он вдруг протянул руку и повернул пряжку к свету.

— Мой шов, — сказал он.

— Уверен?

— Командир, я не уверен, я знаю. — Он поддел ногтем кожу возле пряжки. — Ремень был порван вот тут, у язычка, и я его не заклёпывал, у меня заклёпок не было, я его прошил вдвое и последний стежок вывел обратно, на изнанку, чтоб конец не тёрся. Так никто не шьёт, так меня отец шить учил. Это моя работа, третьего дня.

— Кому ты его чинил?

— Вот в чём вопрос, — сказал он и надолго замолчал. — Их трое ко мне тогда подошло, у амбара, вечером. Один с обмоткой, один с ремнём, один так, поглядеть.

— Третьего дня вечером у амбара, — повторил я. — Кто ещё там был?

— Опарин был. Он мне дратву давал.

Хвостова я отослал к кухне, предварительно расспросив про тех троих ещё раз и записав всё, что он вспомнил. Опарина взял от ящиков, где он в третий раз пересчитывал разнокалиберные патроны и ругался на них так, будто они сами виноваты, что их наделали разных. Он пришёл, наклонился, посмотрел и сразу отвернулся.

— Трошин, — сказал он. — Гаврила. Или Гриша? Гаврила.

— Точно он?

— Точно. Он у меня дратву просил для Хвостова, а я ему не дал сперва, потому что он её тянуть не умел, я сам тянул. Он ещё смеялся, что ремень у него от брата, а брат в лётчиках.

— Хвостов тоже про брата в авиации вспомнил, — сказал я Погодину и развернул свой лист. — Вот, до Опарина записал. И ремень братьев.

Погодин записал: Трошин Гавриил, с уточнением инициала отца по накладной пополнения. Двое сказали одно и то же о вещи и о человеке, и ни один из них не слышал, что говорил другой, потому что я их привёл по очереди и нарочно.

Второго узнал Юдин.

Я нашёл его за углом ризницы — он сидел на ящике, с винтовкой между колен, и смотрел на площадь, где ничего не происходило.

— Юдин, — сказал я. — Нужен.

Он встал сразу. Он вообще теперь всё делал сразу, без промежутка, и это мне не нравилось, потому что так ходят люди, которые боятся остановиться.

У стены он стоял дольше, чем Хвостов, и лицо у него стало совсем детское.

— Сёмин это, — сказал он. — Пуговица.

На шинели, на третьем сверху месте, была пуговица не как все: плоская, деревянная, обточенная и продетая в две дырки суровой ниткой, и нитка была свежая, белая.

— Он её позавчера ставил, — сказал Юдин. — В сенях, когда нас в избу загнали. Он свою потерял ещё в эшелоне и всю дорогу на верёвочку застёгивался, а тут ему дед какой-то местный выточил из ложки. Из черенка. Сёмин ещё хвастался — говорил, лучше казённой, казённая блесит, а эта нет, по ней не найдут.

Он сказал это и сам понял, что сказал, и замолчал.

— Кто ещё видел, как он её пришивал?

— Все видели. Нас там человек восемь было.

Из восьми на ногах осталось трое. Я привёл двоих по отдельности, оба сказали про деревянную пуговицу и про деда с ложкой, и один добавил, что Сёмина звали Петром и что он всё просил у старших писать домой карандашом покрепче, потому что дома у него читать умеет только младший брат и читает по складам.

Погодин записал и Сёмина.

— Ещё? — спросил он.

— Ещё Гнутов.

Он занёс карандаш и остановился, потому что я стоял и молчал, и это молчание вышло длиннее, чем я рассчитывал. У меня в руках был лист, и на листе оставалось место, и я знал всё, что надо было сказать, — фамилию, имя, отчество, год, ранение, время, — и почему-то никак не мог начать говорить.

Дьячков подошёл сбоку и вынул у меня лист из пальцев.

— Давай я подержу, — сказал он. — А ты диктуй.

— Гнутов Фёдор Иванович, — сказал я. — Двадцать второго года. Ранение в левый бок, осколочное, при бое за деревню, к исходу дневного боя. Перевязан военфельдшером Ковригиным. Умер, — тут я опять споткнулся, но уже коротко, — умер там же, на паперти, примерно через двадцать минут после того, как его перевязали.

— В сознании был? — спросил Погодин.

— Был. Говорил.

— Что говорил?

— Что первым до изб добежал.

Погодин записал и это — не в свою графу, а сбоку, на полях, мелко, и я не стал ему мешать.

Вещи разбирал Ковригин. Он сидел на ящике с обломанным углом, разложив перед собой две плащ-палатки: на левой лежало то, что шло в общее имущество роты, на правой — то, что имело хозяина. Он был в своих круглых очках с треснувшим стеклом, работал быстро и говорил, не поднимая головы.

— Ложку не кладите сюда, ложка ротная. Бритву сюда, бритва именная, у него инициалы выцарапаны. Кисет сюда же. Письма все сюда, все до одного, даже размокшие. Портянки на левую, портянки чистые, портянок нету.

— Ковригин, — сказал один из новеньких, тот, что таскал ему свёртки. — А это? Это ж его.

Он держал часы, совсем плохие, с треснувшим стеклом, на ремешке из голенища.

— Его, — сказал Ковригин. — На правую. Хочешь с ним похоронить?

— Ну... они ж его.

— Они его, а он их матери оставил, только сказать не успел. — Ковригин поправил очки. — В землю мы кладём человека. Всё, по чему его можно узнать и что можно отдать домой, остаётся наверху. Это не жадность, парень. Это единственный способ, чтобы через двадцать лет кто-нибудь мог сказать: вот он, это он и есть.

Гнутовские вещи я отобрал сам: кисет, в котором табака оставалось на две закрутки, огрызок карандаша, три письма, из которых два размокли до сплошной синевы, деревянная катушка с намотанной чёрной ниткой, иголка, воткнутая в подкладку пилотки, и бумажка с адресом — вернее, то, что от бумажки осталось. Она лежала во внутреннем кармане, там же, где у меня лежит гребень в тряпице, и её пропитало насквозь, и она слиплась в комок, и когда я развернул её ногтем, на ней не было ничего, кроме одного слова в середине — «Тимониха» — и обрывка чего-то на «-евский», не то района, не то ещё чего.

В пилотке лежала ещё деревянная птичка, которую Хвостов вырезал ему перед штурмом. Федя собирался взять её домой. Я завернул её отдельно, чтобы клюв не обломился, потом сложил всё в чистую тряпицу и завязал углами. Котелок остался снаружи — он в тряпицу не входил.

— Себе берёшь? — спросил Опарин за спиной.

Он спросил без подвоха, просто спросил, но я понял, что вопрос этот сейчас слышали ещё человек пять.

— Нет, — сказал я. — Пока при мне побудет. Пока адрес не найдём. Он в мешок к вещам не лезет, а бросать его в общее железо я не хочу.

— Правильно, — сказал Опарин и ушёл.

Копать начали около десяти.

Место выбрали за южной стороной ограды, в саду, там, где летом, видно, была клумба или что-то вроде — земля без камня. Сверху она схватилась тонкой коркой, серая и звонкая, и лопата шла по ней, как по доске, а под коркой оказалась сырая и тяжёлая, и налипала на лопату так, что её приходилось сбивать о каблук через раз.

— Ломы есть? — спросил я.

— Два, — сказал Хвостов. — В кузне были, я видел.

Он принёс два лома и сам расставил людей: двое бьют корку, четверо выбирают, остальные отдыхают и через двадцать минут меняются. Он сделал это так быстро и так само собой, что никто не спорил. Потом он взял обломок доски и прочертил на мёрзлой земле прямоугольник.

— Вот сюда, — сказал он. — Не больше. Шире начнём — до вечера не кончим, а мельче нельзя.

— Ты гляди, — сказал кто-то из уцелевших стариков, разгибаясь и держась за поясницу. — До вечера. Да мы тут в аккурат под новый налёт попадём. Давайте по-простому: канаву на полметра, положим рядком, землёй закидаем и крест. Нам ещё марш.

— Полметра — это не могила, — сказал Хвостов. — Это до первой оттепели.

— А мне какая печаль?

— Тебе никакой, — сказал Дьячков. — А их матерям будет печаль. Копай, Григорьич, копай, ты здоровый.

Я копал вместе со всеми. Не потому, что так надо было показать, — я сначала и вправду думал про то, как это выглядит со стороны, а потом перестал думать, потому что земля отбила всякую посторонность. Через двадцать минут перестало ломить спину и начало ломить ладони, содранные вчера о жнивье и битый кирпич; я замотал правую тряпкой и продолжал. Дьячков ходил вокруг и выдёргивал из ямы тех, кто выдыхался, — не по времени, а по тому, как человек ставит лопату.

— Вылазь, — говорил он. — Ты уже не копаешь, ты землю гладишь. Вылазь, кому говорю. Тимохин, подай им доску. В яму с твоим локтем не лезть.

Тимохин подавал доски здоровой рукой, носил пустые вёдра и злился, что его не пускают вниз.

К половине первого яма была в рост неглубоко, но в рост. Бортников пришёл, посмотрел, прыгнул, потоптался по дну, вылез.

— Хватит, — сказал он. — Носите.

Носили молча, по двое и по четверо. Плащ-палаток не хватило, и последних двоих несли в шинелях, и мне это было почему-то тяжелее всего — то, что не хватило именно плащ-палаток, потому что вчера их извели на носилки.

Бортников снял шапку. Мы все сняли.

— Восемнадцать человек, — сказал он. — Роты в прежнем составе нету. Эти вот легли здесь и взяли эту деревню, и деревня стоит. Больше я говорить не умею.

Он помолчал и добавил уже другим голосом, обычным:

— Кто хочет сказать — говорите.

Сказал Опарин — три слова, из которых я разобрал только «ребята» и «не обессудьте». Сказал Дьячков — что-то про то, что они шли впереди, и что он это помнит. Потом старик Григорьич начал говорить по-деревенски, как над покойником говорят у них дома, длинно и нараспев, и половина новеньких стала повторять за ним концы фраз — не потому, что знали, а потому что так легче стоять.

Юдин стоял рядом со мной и не открывал рта. Я видел, как он двигает губами, пробуя, и как у него не выходит, и как он от этого начинает дышать чаще.

Я тронул его за рукав, наклонился, набрал горсть земли и подал ему.

Он взял, подошёл к краю, разжал пальцы и отошёл. И ничего не сказал, и никто от него ничего не потребовал.

Закапывали быстро, потому что закапывать всегда быстрее. Хвостов сколотил из ящичной доски столбик, обтесал верх и выжег гвоздём, раскалённым на костре, дату и число похороненных, и мы вкопали его в изголовье.

— Погодин, — сказал я, когда все стали расходиться. — Остайся.

Мы остались втроём — я, Погодин и Бортников. Столбик — вещь ненадёжная: его увезут на дрова, собьёт осколком, свалит тягачом. А церковная ограда, хоть и выщерблена, стоит с прошлого века, и юго-западный угол её сложен из белого камня, и такой угол ни один тягач не свернёт.

— Отмеряем от угла, — сказал я. — Погодин, пиши. От юго-западного угла ограды на юг...

Я пошёл шагами, считая вслух, и Бортников шёл рядом, тоже считая, и мы разошлись на полшага, и перемерили ещё раз.

— Четырнадцать моих шагов, — сказал я. — Мой шаг — семьдесят пять сантиметров. Это десять с половиной метров. От этой точки на восток — восемь шагов, шесть метров. Пиши так, чтоб человек, который здесь не был, нашёл с одного раза.

— А если и ограды не будет? — спросил Погодин, дописывая.

— Тогда останется фундамент, — сказал Бортников. — Фундамент тут метровый. Его и в сорок пятом видно будет.

Он сказал «в сорок пятом» просто как самое дальнее число, какое пришло в голову, и сам, кажется, усмехнулся собственной невозможной цифре, а у меня что-то дёрнулось внутри, и я отвернулся, чтобы этого не было видно.

— И схему нарисуй, — сказал я Погодину. — Прямо тут, на обороте. Ограда, церковь, столбик, стрелка на север. Копию оставишь смене.

— Зачем смене?

— Затем, что приедет мать и спросит, где. И спросит она не у нас.

Погодин нарисовал. Рисовал он, кстати, хорошо — куда лучше, чем писал.

Уже после, когда площадь опустела и ротное имущество стали сносить в ризницу, я вернулся туда один и перебрал свёртки. Их было много, они лежали грудой, и у половины не было ни бирки, ни надписи, потому что писать было некому и нечем. Гнутовский я нашёл третьим сверху, вытащил, проверил узел и переложил отдельно, на подоконник, где стоял котелок. Потом подумал, оторвал от оберточной бумаги полоску, написал химическим карандашом «Гнутов Ф. С.» и сунул полоску под узел так, чтобы торчала.

Это заняло полминуты и не стоило ничего. Я просто знал — не по этой войне знал, а откуда-то из того, чего не мог объяснить здесь ни одному человеку, — что вещи теряются не в бою, а на переездах, и теряются они тихо, без всякой вины, потому что у всех руки заняты.

Сержант, которого утренний лейтенант обещал прислать на наш участок, привёл своих после полудня.

Их вёл сержант — плотный, с широким красным лицом, лет тридцати, в новой шапке и с новым, ещё не обмятым вещмешком, и по тому, как он шёл через площадь — прямо, по середине, наискось, самой короткой линией, — я понял про него первое и главное.

— Бушуев, — сказал он и подал руку. — Принимаю.

— Гринёв. Сдаю по своему участку — северная ограда, крайняя изба, амбарный проход. За остальное Бортников.

— Ну, показывай.

Он сразу повернулся к церкви и махнул своим:

— Всем сюда, к паперти! Становись, инструктаж проведу, чтоб два раза не говорить!

Люди его пошли к паперти, и я не стал ни кричать, ни хватать его за рукав. Я отошёл шагов на десять, туда, где посреди площади лежала свежая воронка — неглубокая, аккуратная, с чёрными лучами копоти по мёрзлой грязи, — и остановился в ней, и подождал, пока он посмотрит.

Он посмотрел.

— Это вчерашняя? — спросил он, подходя.

— Утренняя. Перед приходом вашего лейтенанта. — Я носком сапога обвёл края. — Вот эта — утренняя, а вон те старые, оплывшие, у колодца, были ещё до нашего штурма. Они площадь пристреляли ещё до нас, пока сами тут сидели. У них по ней данные готовые лежат, им переносить ничего не надо.

Бушуев постоял, глядя на воронку, потом на своих, уже сбившихся у паперти в плотную кучу, человек в двадцать, и лицо у него стало не злое, а упрямое.

— Ты мне что, не доверяешь? — сказал он негромко. — Ты своё сдал, ты и иди. Я не первый месяц.

— Я тебе доверяю, — сказал я. — Я этой площади не доверяю. Она у них в таблице записана.

Бушуев ещё раз посмотрел на воронку и прикинул расстояние до своей толпы. Нижняя губа у него дёрнулась. Потом повернулся к своим и сказал — ровно, без крика:

— Отставить. По три человека, с интервалом, к северной стене. Инструктаж на месте.

И пошёл первым, и опять по прямой, но уже не по середине.

Мы обошли участок за сорок минут. Я показал ему четыре узла и переходы между ними: канаву за садом, по которой ходят к ограде, не выходя на открытое; амбарный проход, засыпанный так, что его видно только с трёх шагов; крайнюю избу с каменной стеной и с дырой в подклете, через которую можно выйти на огороды. Показал ложную бойницу в кладбищенской ограде — ту самую, куда ночью прилетела немецкая граната, — и то, как она сделана: камни выложены аккуратно, лаз оставлен, а живой пост сидит в шести метрах левее, за углом, где кладка толще.

— Хитро, — сказал Бушуев. — А если они догадаются?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.